

«Повесть о жизни» — главное произведение Константина Георгиевича Паустовского, которое венчает «Книга скитаний». Повесть посвящена творческому становлению писателя, дружбе с блестящими прозаиками и поэтами и странствиям по России, Средней Азии и Закавказью.

Константин Паустовский
Книга Скитаний

Девонский известняк

Первый подснежник я заметил у самого края подтаявшего хрустящего снега в том месте, где уже сочились струйки талой воды. Они перекатывали какие — то зерна и песчинки.

Белые, почти прозрачные лепестки подснежника, измятые после зимнего сна, распрямлялись на солнце и вздрагивали.

Первая весна! *Prima vera!* Когда мы с мучениями зубрили в гимназии латынь, то только эти два благозвучные латинские слова впервые примирили нас — и то немногих — с этим языком. «Прима вера» — первая полудетская весна. Та весна, когда стрелки травинки еще не выползли из земли и видны только в сырых маленьких трещинах. Там они еще прячутся от ночных заморозков.

Тихое солнце в полном безветрии грело землю (это было в Орловской области около городка Ливны) и спокойно сверкало над просторной — тогда еще уездной, а ныне районной — Россией.

В оврагах за городом уже сердилась и бормотала вода. Вдали, в печном дыму пригородных слободок — Стрелецкой и Ямской — орали, надсаживаясь и сдуру теряя голоса, слободские бесстрашные петухи. Они радовались возвращению тепла и ликовали по случаю своей долгой жизни, — петухам, наверное, казалось, что они бессмертны на этой земле так же, как бессмертны и люди.

Я отпросился из РОСТА на несколько дней и поехал в Ливны к старым знакомым мамы. Поехал без всякого дела, просто так. Мне хотелось отдышаться после трудной жизни в Пушкине и затяжной московской зимы.

В Ливнах жила старушка, вдова земского врача Шацкого, с дочерью, тоже врачом, и сыном — геологом. После экспедиции на восточный берег Каспийского моря геолог Алексей Дмитриевич заболел тяжелым нервным истощением и теперь отдыхал в Ливнах у матери и сестры. Шацкие жили в старом деревянном доме вблизи железной дороги.

Геолог не любил сидеть на месте. Он все время бродил по городу и полям вокруг него и брал с собой в спутники девушку — дочь машиниста Таю — и меня.

Иногда с нами ходила и его сестра Нина Дмитриевна — строгая на вид, но добрая и близорукая сорокалетняя женщина, очень решительная в своем медицинском деле и влюбленная в это дело, как был в него влюблен и ее отец.

Слава о нем, как о бескорыстном и самоотверженном докторе — исцелителе, жила еще долго после его смерти в Ливнах, в Ельце и в самом Орле.

К отцу вдова его и дети относились с благоговением. Память его почиталась не только за его врачебный талант, но и за то, что он был из числа народников и боготворил Чернышевского. В кабинете доктора, где мне стелили на диване, висели фотографии юношей, похожих на писателя Гаршина, с длинными волосами и курчавыми бородками, и девушек в черных и тугих шелковых корсажах с буфами и гладкими прическами.

У всех девушек были открытые, очень русские лица и серые глаза. Конечно, на фотографиях цвет глаз разобрать было нельзя, но так мне казалось. Этот цвет глаз очень шел к чуть заметным улыбкам на губах этих девушек и к их приветливым лицам.

Сам я вырос в семье с неустойчивым и беспокойным бытом, с разнокалиберной обстановкой случайных квартир, и, может быть, поэтому чувствовал необыкновенную любовь к таким домам, как у Шацких.

В этих домах, как выражались в старину, можно было «отдохнуть душой». Тишина, изредка украшенная смехом и голосами молодежи, легкая суэта праздников, старые диваны, над которыми склонялась тень фикусов, вечерний и непонятно почему успокаивающий писк керосиновых ламп, много старых книг и журналов, легкий запах лекарств, как и должно быть в доме врача. Сад за окнами, а за садом — железная дорога, станционный переезд, редкий перестук товарных поездов и громкое пыхтение старых паровозов. Мне всегда казалось, что вблизи станции они нарочно пыхтят так напряженно и так торопливо работают шатунами, чтобы показать, какие они незаменимые работяги. Милый запах вечернего чая, смешанный с легким самоварным паром, какое —нибудь всегда особенное варенье («Вы не поверите. Тая достала в Орле десять кило сахарного песка») то из китайских яблок, то из ежевики — все это и еще сотни мелочей создавали уют, без которого плохо жить человеку. Уют этот одно время принято было ругать: он, мол, «обволакивает и успокаивает людей».

— Ну и слава богу, что успокаивает, — говорила старушка Варвара Петровна, — хоть подумать и прийти в себя будет время. А то среди ваших этих вопросов и, как их там, проблем, что ли, недолго и здоровье совсем потерять. Выпейте лучше чайку с вишневым вареньем да сходите в кино. Там, говорят, представление идет замечательное про какого — то закройщика из Торжка. Тая прямо обхохоталась.

Из окна докторского кабинета виднелись такие дали и такие мягкие округлые взгорья, что даже замирало от взгляда на них сердце. А у подножия этих далей, увалов, оврагов и взгорий широкой (по весне) лентой протекала под железнодорожный мост река Быстрая Сосна.

Она действительно была быстрая, струистая, несла последние коричневые льдины, шуршала, особенно громко по ночам, и с каждым часом подымалась, качая и затапливая кусты лозняка.

На ветках лозы тесно сидели, как крошечные воробьи с желтыми грудками, пушистые почки – «барашки». Они распушились как раз к вербному воскресенью.

Вдоль берега реки снег уже стоял, но подальше, па краю полей, он еще лежал толстым покровом.

Геолог объяснял это тем, что Быстрая Сосна протекает у Ливен в мощных пластах девонского известняка, а этот известняк будто бы хранит в себе тепло далеких многомиллионных эпох. Это тепло сочится непрерывно из земных недр и отравляет жителей Ливен.

Поэтому, по словам геолога, в городке до сих пор, на седьмом году революции еще много диких поверий. Он рассказывал, что бесплодные ливенские женщины покупают у рыбаков живых щук, пускают их в корыто с водой и долго – не меньше чем два часа, – смотрят, не отрываясь, в желтые и злые щучьи глаза. Говорят, помогает. А старухи грызут от зубной боли куски известняка с могилы юродивого Петьки – Петушка. Тоже, говорят, помогает.

Тая только вскрикивала и с испугом взглядывала на меня, боясь, что я могу этому поверить.

Когда геолог заговаривал о девонском известняке, Нина Дмитриевна делала мне незаметный знак, чтобы я слушал, но не возражал. А Варвара Петровна начинала дрожащей рукой разглаживать скатерть на обеденном столе.

Губительное дыхание девонского известняка было той легкой и безопасной манией, какой страдал геолог.

Кроме того, он убеждал меня, правда, не очень уверенно, что человечеству принесет много несчастий, а возможно, и полную гибель все, что начинается на букву «г» – Германия, Гогенполлерны, Гитлер, Геббельс (тогда уже начинался в Германии расцвет фашизма).

Но, в общем, геолог был человеком добродушным, молчаливым и никому не мешал.

На второй день моего приезда в доме выставили рамы. Сырой разогретый сад дохнул в комнаты слабым запахом ванили, напоминая, что приближается пасха.

На подоконниках обывательских домишек зеленой сочной щеткой прорастал в плосках овес.

Старухи плелись на кладбище с поминальными веночками из крашенных стружек – цветов еще не было, они не распустились.

Цветы и венки из стружек делали очень искусно (особенно большие лоснящиеся розы) ливенские мастерицы. Они даже славились этим на всю округу. Красили стружки анилином — ярко и неприятно.

Каждый день геолог гулял за городом с Таей и со мной. Тая была хромая милая девушка с толстой русой косой и светлыми круглыми глазами. У нее была какая-то болезнь щитовидной железы (по словам геолога, конечно, от излучения девонского известняка). Нина Дмитриевна давно ее лечила, надеялась вылечить окончательно и устроить после этого в медицинский техникум в Ельце.

Тая робко расспрашивала меня (геолога она немного побаивалась) о Москве, Черном море, о Крыме, о том, какие там растут деревья и правда ли, что, поднявшись в горы, можно попасть в облака.

Иногда она спрашивала меня, видел ли я Ленина и Льва Толстого, Горького, Маяковского и Шаяпина.

Я выдумывал и говорил, что видел, хотя не видел ни Толстого, ни Горького. Мне нравился восторг в ее глазах — она даже задышалась и начинала пришептывать от волнения. Я рассказывал ей обо всем так, как ей хотелось бы услышать.

К счастью, геолог не обращал внимания на наши разговоры во время прогулок, а Нина Дмитриевна их не слышала, иначе мне здорово попало бы за обман. Нина Дмитриевна была строжайшей ревнительницей правды во что бы то ни стало.

— У меня медицинский ум, — говорила она. — Я не понимаю, какая может быть польза для человека от выдумок, даже от самых приятных. Любая правда лучше их. И человечнее.

Я с ней не спорил, но правым считал, конечно, себя.

В воскресный день во время прогулки мы встретили за городом на берегу Быстрой Сосны молоденького красноармейца. Он сидел на сухом бревне и вырезал из куска ивовой ветки жалейку — простую пастушью дудочку,

Когда мы поравнялись с ним, он встал, как перед старшими, и вытянулся.

— Вот! — сказал он смущенно и покраснел. — Здравствуйте!
Режу тут Балуюсь
помаленьку

Мы присели на бревно, закурили. Красноармеец все стоял, не решался сесть с нами, пока Тая не потянула его за рукав шинели и не заставила сесть. Жалейку и нож он поспешно спрятал в карман шинели.

В Ливнах стояла какая-то воинская команда. Красноармеец был, должно быть, из этой команды.

— Новобранец? — спросил его Алексей Дмитриевич.

— Так точно! — охотно ответил красноармеец. — Касьян

Звонарев. Сам я олонецкий. Тут я недавно.

С давних пор Олонецкий край привлекал меня. Мое увлечение географией России шло наплывом: то я читал запоем все, что мог достать о Белоруссии, потом — о Закаспийских степях, а одно время увлекся Севером, зачитывался строгой и неторопливой книгой Максимова «Год на Севере» и описаниями северных монастырей.

— Был один хороший человек — Касьян с Красивой Мечи, — сказал Алексей Дмитриевич и улыбнулся, что бывало с ним очень редко. — А ты будешь теперь у нас Касьяном с Быстрой Сосны. Согласен?

— Да не очень, — ответил красноармеец. — Я, вернее, Касьян из Заонежья. Может, слышали?

— Слышали. Гранитная страна! — сказал Алексей Дмитриевич.

— Вот-вот! Граниту у нас много. И озер. Да не в этом наша сила.

— А в чем же? — спросил я.

— В плотницкой работе. У нас избы рубят без гвоздей, на одних шипах. И церквей рубленых — сколько хошь. Ученые приезжали, считали, считали, сбились — так и уехали, не сосчитавши. У меня дед — плотник, батя мой — плотник, я сам — плотницкий ученик, а бабка моя — первая помощница наших мужиков по плотницкому делу.

— Неужели старуха плотничает? — удивилась Тая.

— Да нет, не то. У нас избы все в кружевах, как в полушалках. Понимаете? В деревянных кружевах. И каждый тщится, чтобы была у его избы иная лепота, иной узор, чем у соседа. А чтобы узор по дереву составить, для этого особый дар нужен. Большой дар. Бабке он даден этот дар. Она такие узоры намечает, что не всякий и выпилишь. Даже большие мастера отступались, не осмеливались те узоры осилить.

— А как же она работает? — спросила Тая.

— Сначала тоскует. Сидит иной раз до полуночи на крылечке, на востоке в избу, все томится. Ночи у нас по лету все в свету, в белизне. В такие ночи дыхание у человека воздушное, как сквозь сон какой-то. Посидит вот так, потоскует, потом запоем про себя чего-нибудь старинное — престаринное, протяжное, но не церковное, а общее, стародавнее. Из новгородских времен. А спевши, возьмет уголек и рисует на чем ни попало узор. И у всех у них, у этих узоров, есть имена. Один называется «Свиток», другой — «Травница», третий — «Петушиный переклик».

Он помолчал.

— Ой, разболтался я, прощения прошу.

— Девон источает яд, — строго сказал Алексей Дмитриевич, — а граниты, гнейсы и все эти крупнозернистые магмовые породы выдыхают силу, зоркость, упорство. В этом вся соль.

— Народ у нас действительно зоркий, — согласился Касьян. —

Поэтому наших больше берут во флот, в мореплавание. Один я обчелся, заслали меня в эти поля да овражины. И река тут мутная, глины много.

— Вы бы сыграли, Касьян, — попросила Тая. — На вашей дудочке.

— Извольте, если желаете.

Красноармеец вынул жалейку, долго ее осматривал, вертел в пальцах, потом поднес к губам и заиграл жалобно, тонко, будто какая-то залетная птица призывала кого-то, просила прислушаться к ее птичьей беде. Мы сидели, слушали.

Потом Касьян, гремя тяжелыми сапогами, проводил нас до железнодорожного переезда, попрощался, за что-то поблагодарил и ушел.

— Жалко его, — вдруг сказала Тая. — Совсем мальчик. И бледный очень.

— Это от весны, — ответил геолог. — В ливенском весеннем воздухе особенно много девона.

Мне казалось, что все в этом северном мальчике было от весны — и бледность, и смущенный ласковый взгляд, и, главное, — пение жалейки. Как будто звенели под сурдинку слабенькие весенние стебельки и проснувшиеся после зимы соки разных растений.

Вскоре я уехал из Ливен, но эти несколько дней весны я долго не мог забыть. Есть такое слово «светлость». Помните, у Тютчева: «Есть в светлости осенних вечеров» Все дни в Ливнах были наполнены этой светлостью, как солнцем.

Однажды Алексей Дмитриевич вошел в кабинет, где я лежал на диване, и высыпал на письменный стол из картонной коробки много фотографий.

— Хотите посмотреть места, — спросил он, — куда вам нельзя никогда ездить?

— Почему?

— Потому что при вашем цвете глаз и волос вам опасно спускаться ниже 45-й параллели. Я геолог и точно это знаю. Смотрите, тут такие наглядные пласты пород, складки, свиты и обрывы, каких нет нигде больше ни в Европе, ни в Азии. Смотрите спокойно и не путайтесь. Если захотите, я вам кое-что объясню.

Он ушел, загадочно улыбаясь. Я встал, сел за стол и взял в руки первую же большую фотографию.

Под ней была надпись: «Порог Усть-Урт. Вид с северо-запада, со стороны Мангышлака».

Я всмотрелся в фотографию, и меня взяла оторопь.

В необыкновенной ясности воздуха над глинистой пустыней, усеянной мелкими сухими камнями, вздымалась отвесная черная стена высотой в 200 — 300 метров — гладкий порог, как бы срезанный ножом исполина.

Казалось, что в этом месте пустыня раскололась и неведомые силы подняли половину ее к небу гигантским домкратом.

На отвесной этой стене не было ни трещин, ни следов водомоин, — то была совершенно девственная стена, будто только что возникшая здесь, несмотря на многие тысячелетия, безусловно прошедшие со времени ее образования.

Так иногда подымается над землей в безоблачном свете неба, в чистой его синеве черная, как мировая ночь, глухая, могучая и молчаливая — грозная или ураганная — туча, резко отделенная от остального мира.

Но в этой сухой туче нет ни вспышек молний, ни рокота грома, ни признаков далеких вихрей в виде косматых сосков пыли, припадающих к земле»

Усть — Урт! Я знал, что на восточном берегу Каспийского моря лежит это недоступное и смертоносное плоскогорье, похожее на могильную плиту с периметром в несколько сот километров. Туда нет никаких дорог.

Вопреки словам Алексея Дмитриевича, мне не стало страшно. Наоборот, жадное любопытство охватило меня, жестокое желание увидеть эти места лицом к лицу и почувствовать не страх, а какой — то непонятный восторг перед грозным одиночеством этих скал, раскаленных солнцем.

Очевидно, такое же состояние может охватить человека при виде катаклизмов, космических катастроф, извержений и великих ураганов, меняющих в одно мгновение знакомый облик Земли.

То был застывший катаклизм.

В лупу можно было рассмотреть на краю этой стены белеющий над обрывом скелет верблюда. И ни одной травинки. Даже чий — закаленное полуметровое растение пустыни — не рос нигде, сколько я его ни искал.

«Ад! — подумал я. — Ужас и одиночество».

В этом зрелище было что — то могучее, захватывающее, будто я стоял на краю бездны.

Я вспомнил недавний разговор с Ильфом в «Четвертой полосе» «Гудка». Говорили о путешествиях, и Ильф вскользь сказал:

— Чтобы взять от путешествий все, что можно, нужна большая психическая выносливость.

— Люблю афоризмы! — заметил Олеша. — Особенно из уст великих путешественников Джемса Кука и Ильи Арнольдовича Ильфа.

Ильф не рассердился.

— Юра, — сказал он убежденно, — вы же не собираетесь всю жизнь гулять в панаме в померанцевых рощах Сицилии или срывать лилии в пышных королевских садах Версаля. Что, если вам придется попасть в такие окаянные места, как, скажем, Антарктика или пустыня Гоби? Семьдесят градусов скрипучего мороза или паршивая

колючая пыль, что будет хлестать, вам в лицо несколько суток подряд. Надо это увидеть, выдержать, запомнить. И не проситься домой, до мамы. Так рождаются великие характеры и мужественные души. Иначе не стоит брать в руки гусиное перо.

Я вспомнил эти шуточные слова Ильфа и подумал, что я непременно поеду на восточный берег Каспийского моря и увижу эту омертвелую землю, как бы испепеленную мировым пожаром. И выдержу. И напишу.

Тем сильнее и преданнее я буду любить потом каждый серый денек у нас, в Средней России, — тот самый, что помаргивает дождиком и пахнет мокрыми лопухами.

Мне казалось, что свою старую любовь к обыкновенной земле я усилю, укреплю, доведу до предела, только испытав отчаяние этих бесплодных пространств, непригодных для человеческой жизни.

Я рассмотрел все остальные фотографии. Все они были очень выразительны и даже величественны. То были снимки берегов Кара — Бугазского залива на Каспии.

Я ничего о нем не знал и даже не представлял себе, где он находится. Но он уже неудержимо тянул к себе своей дикостью, явной тайной, скрытой в его мгlistых пространствах. Тайна была. Я это чувствовал.

Потом Алексей Дмитриевич скупно и странно рассказал мне о Кара — Бугазе. В его рассказе действительность была спутана с легким бредом. Но это, пожалуй, только усилило мой интерес к этому неведомому месту. После его рассказа загадочный туман кое — где поредел, а кое — где сгустился.

Я узнал, что залив этот похож на исполинский конденсатор соли и что вся местность вокруг него никем не исследована.

Так впервые в тихом провинциальном доме, где застенчиво цвел на окнах бальзамин, родилась мысль о книге, целиком взятой из реальной и суровой, даже жестокой жизни. Я начал много думать об этой книге и готовиться к поездке на Мангышлак и в Кара — Бугаз.

А когда через три года мне удалось совершить эту поездку и начать писать книгу, я второй раз приехал в Ливны. В силу чего — не знаю. Может быть, в силу прямой противоположности ливенских мест закаспийской пустыне. В Ливнах все были на старом месте — и старушка Варвара Петровна, и Нина Дмитриевна, и геолог, и Тая, и даже Касьян из Заонежья.

Он остался в Ливнах на сверхсрочную службу, как мне показалось, из — за Таи, возмужал, загорел и перестал быть похожим на хилого северного пастушка.

Мне легче было писать о Кара — Бугазе в дремоте старого дома, под непрерывную переключку слободских петухов, под ровный звон дождевой воды, лившейся с крыши в старую бочку, поглядывая за окно, где сквозь облака просвечивало по временам нежаркое и безопасное солнце.